

Художник М. Кулаков

поэт и история

Каждый поэт создает собственное отношение к миру — сейчас существующему или уже отступившему в прошлое. Знание мира, знание истории мы можем получить из собственного опыта (если это наша современность) или из данных науки (если это мир прошлого), но поэтическое истолкование мира мы можем получить только от поэта, писателя, художника, музыканта. Именно они дают нам то эмоциональное отношение к миру, без которого он теряет для нас интерес, оказывается мертвой схемой, утрачивает свою живую плоть, как бы дематериализуется.

Поэт подсказывает нам непосредственное восприятие мира, эмоциональное к нему отношение, обостряет ощущение реальности факта, эпохи. И это поэтическое отношение к миру настоящего или прошлого может быть современно, актуально, прогрессивно или оно может быть традиционным, отсталым, косным — независимо от того, о каком мире идет речь в поэзии: о мире современном или прошлом, о действительности социалистической, капиталистической или феодальной. Современность поэзии — это пе столько современность темы, сколько современность поэтической интерпретации темы. Содержание поэзии — это по преимуществу истолкование фактов, современный взгляд на них.

До сих пор в нашем поэтическом отношении к Киевской Руси (а именно о ней по преимуществу говорит книга Виктора Сосноры) господствовали штампы и трафареты, созданные в свое время А. К. Толстым. Эти штампы и трафареты не только идеализировали государственные «свободы» Киевской Руси с позиций дворянского либерализма, не только создавали простенькие и чистенькие

представления о древних русичах как о счастливых и беспечных «берендеях», живущих в обстановке социального мира, но и сочетались с различными мелкими красивостями: вычурной речью древних русичей, их нарядно-оперной одеждой, степенностью и благоприличием быта.

В своем поэтическом представлении о Киевской Руси Виктор Соснора разрушает эти красивости, эти либерально-дворянские представления о социальном мире в Киевскую эпоху. Он стремится увидеть Русь в живой плоти — страдающей или по-простому радующейся, борющейся, материально-коикретной, часто грубой, чувственной, но неизменно жизнелюбивой.

Но сказать только, что восприятие Виктором Соснорой Киевской Руси лишено красивостей А. К. Толстого, — это сказать слишком мало. Киевская Русь для Виктора Сосноры освещена ужасами Великой Отечественной войны. Он пережил в шестилетнем возрасте блокадную зиму Ленинграда 1941/42 г., он был вывезен из Ленинграда по Дороге жизни под пулеметным обстрелом с самолетов. Он очутился на Кубани и был со спасшей его бабкой захвачен немцами. В семилетнем возрасте он трижды побывал в гестапо, а затем жил в партизанском отряде, которым командовал его дядя. Этот отряд и его командир были расстреляны фашистами на глазах у мальчика. Он спасся только потому, что за четверть часа до расстрела сам был ранен в голову осколком мины. Он видел расстрел отряда сквозь застилавшую ему лицо кровь.

Вот почему он знает, что такое половцы, знает, что такое Батый. И град Китеж для него не сладкозвучный и сладкоцветный рай, а партизанский лес и кубанское село, захвачепное фашистами, в котором чудом, — чудом, вызванным к жизни силой духа, — сохраняется настоящая жизнь, несмотря на предательство и подлость отдельных трусов.

Киевская Русь Виктора Сосноры знает опыт нашей великой войны.

Соснора поэтически домысливает летописные сказания, «Сло-

во о полку Игореве», «Сказание о граде Китеже», «Задонщину», былипы, — как бы продолжает их. Напрасно было бы требовать от Сосноры исторической точности во всем: он поэт, а не источниковед. Невозможно искать у него и лингвистическую чистоту, точные представления о русском быте Киевской поры, о материальной культуре того времени и пр. Любители находить исторические неточности могли бы найти в стихах Виктора Сосноры некоторую поживу. Но поэт не археолог, не лингвист, не историк литературы, не фольклорист, и пишет он не для того, чтобы в стихах сообщать исторические сведения. И тем пе менее дух истории витает в стихах Сосноры.

Важно отметить, что общие представления о Киевской Руси в стихах Сосноры поразительно совпадают с теми, которые дает нам в своей книге «Люди и правы Древней Руси» советский историк Б. А. Романов. Это совпадение представлений поэта и историка не случайно. Оно обусловлено тем, что и тот и другой—наши современники: советский поэт и советский историк. Матсриалистическое мировоззрение и наша современность, с одной стороны, и тяжелый опыт войны, с другой, поэволили одинаково истолковать Киевскую Русь, понять ее заботы, ее повседневную жизнь и историку, и поэту.

Б. А. Романов стремится увидеть в Киевской Руси живых людей с их повседневными интересами, — людей, страдающих от несправедливости, совершающих преступления против власти, расплачивающихся за это, добывающих и кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду, и достаток, чтобы забрать власть над другими людьми, страдающих от войны и чужеземных захватчиков. В. А. Романов увидел в Киевской Руси грубую жизнь. Книга его пе сразу получила признание специалистов.

Стихи Виктора Сосноры, посвященные Древней Руси, тоже идут против наших привычных представлений. Их тоже не легко признать читателю.

Н. Н. Асеев в своем письме ко мне 25 ноября 1961 г. писал о Соспоре: «...я рекомендую его Вам не как подражателя, а как

открывателя совмещения в стихе древнего с сегодняшним, вводящим в словарь темы древности смелые говорные термины и интонации, вроде слов «завихренья», «роба», «взъерепенился», «барахло», «халупы», от которых должны прийти в ужас пунктуальные слововеды, как от не свойственных древней лексикс. А именно в том-то и прелесть этих стихов, что они звучат сразу и по-славянски и по-русски, по-современному и по-давнему. Я посылаю Вам на пробу одно из таких стихотворений, в котором не только есть и вкус и цвет «обои пол времен», но и любовь к языку, не формальная, а живая, речевая, современная, несмотря на то, что тема древнейшая».

Этим послапным «на пробу» стихотворением было «1111 год». Поход Владимира Мономаха 1111 года выступил в этом стихотворении не в своем парадном и официальном обличии, а как тяжкий труд, как борьба с природой и косностью тоскующих по своим женам и «халупам» бояр.

Люди устали, люди измучены непосильным трудом, они котят простых развлечений. До высокой поэзни они поднимаются и просто «продираются» через дебри тяжкого быта. Быт груб и требователен, но люди не «заедены бытом». Поэзия растет снизу, а не слетает к людям сверху. Она не украшение жизни, а ее преображение, идущее из самых ее грубых и плодородных недр. Над всем господствует поэзия.

Поэзия в быту Киевской Руси — основная тема «Всадников». Поэт пишет о поэзии. Поэт пишет о поэтическом преодолении грубого быта на самой заре русской истории. Поэт обращается к истокам русской поэзии, как к началу, вечно сопутствующему истории русского народа.

Поэтический метод Виктора Сосноры во многом как бы воспроизводит эту основную идею его стихов. Его стихи рождаются из преодоления обыденной речи, из находок в самых недрах русского языка. Идеи рождаются у самых корней слов. Соснора вызывает из недр русского языка ассонансы, однокоренные и

однозвучные слова, схожие звучания и дирижирует этим хором словесных созвучий так, что постепенно становятся ясными новые рожденные ими смыслы, новые поэтические ассоциации:

«...и Дон до дна ладонью расчерпать!»

Соснора обыгрывает в этом своем поэтическом отклике на «Слово о полку Игореве» ассоциации, связанные с дном. Поэтические образы «Слова» становятся как бы свойствами самого русского языка, ощущаются его коренными особенностями, вечно с ним связанными.

А вот совсем новые картины, рожденные словами «Слова»:

«Закачались ковыли жалостливо по полю. Убирают ковали наковальни в подполье. Не ковать им, ковалям, ни мечей, ни копий. Им по избам ковылять с мелочной поковкой».

Через слова «ковать крамолу», обращенные автором «Слова о полку Игореве» к князьям, увиден быт тружеников. Но этого мало. Соснора не ограничивается словами как материалом для своих поэтических построений. Он берет летописные образы, героев былин и литературных произведений (Бояна, Маринку, Апраксию, Потока, Ставра и пр.), додумывает их характеры, досказывает за них их жизнь, сочиняет за Бояна его стихи, создает для них новые жизненные ситуации, смелые биографические подробности. И сделано всё это богато и поэтически убедительно.

«Прелесть сосноровских «перефантазирований», — писал мие Н. Н. Асеев в другом письме (29 января 1962 г.), — именно в том, что он не повторяет подлинника, а — на влюблеппости в подлинник — продолжает видеть воображением его запредельные картины».

Поощряя В. Соснору к поэтическому переосмыслению «Слова о полку Игореве», Н. Н. Асеев писал: «А это было бы здорово хорошо, что современный молодой поэт продолжает великолепную живописность и силу старинного памятника» (там же).

Противопоставляя Русь В. А. Сосноры Руси А. К. Толстого, я не думаю, что Руси первого выпадет такой же успех, как Руси второго, и что у Соспоры найдутся такие же подражатели, как у А. К. Толстого. Русь А. К. Толстого могла перейти в оперу и в живопись. Она могла стать такой же популярной, как оперная ария. Стихи Сосноры не создадут нового стиля восприятия Киевской Руси. Они не создают новый стиль восприятия эпохи, а разрушают существующие стилизации. Поэтому-то они и не смогут сами иметь подражателей. Но стихи Сосноры всегда будут заражать читателей своим стремлением увидеть в Киевской Руси вечно человеческое, близкое и нам, историческую обыденность, сквозь которую прорастает вечно зеленое дерево поэзии.

A. Auxaves





ЗА ИЗІОМСКИМ БУГРОМ

За Изюмским бугром побурела трава, был закат не багров, а багрово-кровав,

желтый, глиняный грунт от жары почернел.

Притащился к бугру богатырь печенег.

Пал ничком у бугра в колосящийся ров,

и урчала из ран черно-бурая кровь.

Печенег шел на Русь,

в сталь

и мех наряжен,

только не подобру

с ножом на рожон,

не слабец и не трус, —

получился просчет... И кочевнику Русь обломала плечо.

тел —

Был закат не багров, а багрово-кровав. За Изюмским бугром побурела трава.

Солнце

четкий овал задвигало за гать.

Печенег доживал свой последний закат.

У ПОЛОВЕЦКИХ ВЕЖ

Ну и луг!

И вдоль и поперек раскошен.

Тихо.

Громкие копыта окутаны рогожей.

Тихо.

Кони сумасбродные под шпорами покорны. Тихо.

Под луной дымятся потные попоны.

Тихо.

Войско восемь тысяч, и восемь тысяч доблестны. Тихо.

Латы златокованы, а на латах отблески.

Тихо.

Волки чуют падаль,

приумолкли волки.

Тихо!

Сеча!

Скоро сеча!

И - побела.

только...

тихо...

ПИР ВЛАДИМИРА

Выдав на бойню отару, бубен добыл берендей. Купно придвинуты чары.

Бей, бубен, бей, бубен, бей!

Очень обижен Добрыня — крутит чупрыною аж: — Вот что, Владимир, отныне ты мне, племяш, — не племяш. Красное Солнце,

не гоже

ложке шуршать на губе. Тьфу!

Деревянные ложки! —

Бей, бубен, бей, бубен, бей!

Хмуро десятники встали:
— Выковать ложки пора!
Разве мы не добывали
разного злат-серебра?
Липовой ложкой

как можно мучить дружину тебе? Слава серебряным ложкам! —

Бей, бубен, бей, бубен, бей!

Бочки рядами

и рядом.

Днища мокры от росы. Брызжет в жаровнях говяда. Ромбами вырублен сыр. В чаши, кувшины, ендовы хлещет медовый ручей, — добрый, медово-бедовый!

Бей, бубен, бей, бубен, бей!

РОГНЕДА

На Днепре апрель, на Днепре весна

волны валкие выкорчевывает.

А челны черны, от кормы до весла

просмоленные, прокопченные.

А Смоленск в смоле, на бойницах крюки,

в теремах горячится пожарище.

У Днепра курган, по Днепру круги, и курган

в кругах

отражается.

Во курган-

горе

иять бога-

тырей,

груди в шрамах — военных отметинах,

непробудно спят.

Порубил супостат

Володимир родину Рогнедину.

На передней

короге

в честь предка

Сварога

нир горой — коромыслами дымными.

Но Рогнеда

дичится,

сдвинув плечи-

ключицы,

отвернулась от князя Владимира.

Хорохорятся кметы:

— Дай рог

Рогнеде,

продрогнет Рогнеда под сорочкою. —

Но Владимир

рог не дал нелюдимой

Рогнеде.

Он промолвил:

— Ах ты, сука непорочная!

Ты грозишь:

в грязи

народишь сынка,

хитроумника, ненавистника, и сынок

отца

завлечет в капкан и прикончит Владимира быстренько. Не брильянты глаза у тебя! Отнюдь! Не краса —

коса

цвета просового. От любви убил я твою родню,

от любви к тебе, дура стоеросовая! —

Прослезился князь, преподносит — на! —

скатный жемчуг в бисерной сумочке.

Но челны черны, и княжна мрачна,

только очи

ворочает

сумрачно.

калики

Приходили калики к Владимиру. Развлекали Владимира песенками. И поили их винами дивными. И кормили заморскими персиками.

Только стольники-прихлебатели на калик возводили напраслину:

будто

утром

певучая братия блуд вершила с княгиней Апраксией.

Взволновался Владимир за женушку. Понасупил бороду грозную. Выдал стольникам розги саженные... И мычали калики под розгами.

Отмычав, подтянули подштанники. Заострили кинжалы до толики. Рано-раненько за баштанами прикололи калики стольников.

КАРАЧАРОВО

В Карачарове селяне — крикуны. Ох и любят они глотку размять, ох и любят помянуть под блины новоявленного бога

и мать.

Соберутся в кабаке —

и в бока

заскорузлые ладони:

— Дуду!

И закатят в кабаке трепака под дуду,

да так,

что бревна

гудут

в кабаке.

А кабацкая голь, завшивевшая, в парше голова, уворовывает яйца и соль, огурцы и куропаток в рукава! В Карачарове селяне — крепыши, бабы — пышки.

а детворня кривонога, на ушибе ушиб, испекает на угольях воронят и, прищурив хитрющие ресницы, преподносит воронят папашам:

— Вот попашете,

попьете из криницы,

и откушаете

уточки

с кашей...

СКОМОРОХИ

В белоцерковном Киеве

такие

скоморохи — поигрывают гирями, торгуют сковородками, окручивают лентами округлых дунек... И даже девы бледные уходят хохотуньями от скоморохов, охают

в пуховиках ночью,

ведь ночью очень плохо девам-одиночкам. Одним,

как ни старайся, тоска, морока... И девы пробираются к ско-

морохам. Зубами девы лязгают от стужи. Ночи мглисты. А скоморохи ласковы и мускулисты, и дозволяют вольности...

А утром, утром у дев уже не волосы

> на лбу, а кудри

окутывают клубом чело девам, у дев уже не губы — уста рдеют!

Дождь сыплется...

Счастливые, растрепанные, мокрые смеются девы:

— В Киеве такие скоморохи!

КАЛИКА

Посох тук-тук...
Плетется калика,
посох тук-тук...
в портянках плетеных,
посох тук-тук,
стихарь да коврига,
посох тук-тук,
у калики в плетенке.

За плечом летописные списки о российских

ликующих кликах.

Напевая стишок

византийский, вперевалку плетется калика.

Над каликой гогочут вприсядку дядьки-ваньки и девки-нахалки, и кусают

калику за пятки шелудивые псы-зубоскалы.

Посох тук-тук по сухому суглинку, посох тук-тук по кремнистому насту.

Непутево плетется калика. Ничего-то калике не надо.

ЗАСТОЛЬНАЯ НОВГОРОДСКИХ МЯТЕЖНИКОВ

Приподнимем братины,

братья!

Пузырями в братинах

брага!

За отвагу прошедших ратей!

За врагов,

размешанных с прахом! Мы подлунны, как вся, мы —

смертны,

только преть в перинах

противно.

Приподнимем братины,

смерды, за разгул — к потолку братины! Приподнимем братины,

други,

за мятеж! Заострим рогати!
Всех владык толстобрюхих — крюком, и на дыбу владык брюхатых!
Жрать горбуху и квас

не вечно

нам, на пашнях дробящим камни.

Будет править Новградом вече — не науськанное князьками. Быть в Новграде холопской правде, быть холопскому дьяку в храме! Приподнимем братины, братья! Побратаемся с топорами!

БОЙ МСТИСЛАВА С РЕДЕДЕЙ

Мстислав пучеглаз и угрюм, как пучина. Не ведал он ласк и девичьей кручины и не подносил полонянкам парчи. Закрученный ус

у Мстислава торчит. Мстислав солнцелик. Но не ясен, а красен

лицом,

а плечами устойчивей граба. Мудрец Ярослав и молва не напрасно прозвали Мстислава маститого Храбрым. Из рощи,

где ропшет

в трясине осока, ведет русых руссов Мстислав на косогов. Из бора,

где ели

у кромки редеют, ведет горбоносых косогов Редедя. И сдвинулись армии.

Встали, горланя

орлами голодными перед бранью с орлами голодными.

Рявкнул Редедя:
— Вы. руссы.

вы — трусы,

собакины дети!

Ваш князь —

недоносок,

и харя вдобавок. — Мстислав ухмыльнулся. Мстиславу забавно. Мстислав до мизинцев улыбкою застлан: — О, витязь Редедя опять нализался! — Летят в лопухи оборонные латы. Сцепились два князя. Кулачпая схватка! Мечи — в лопухи!

Если драться— то драться! Наметан кулак. Мимо скулы не клацнет. Обучены витязи скулы мочалить. Придвинулись армии ближе.

Молчали, борцов одобряя бряцаньем металла. Вспотевшая ныль

над борцами металась.

Вот вскрикнул Редедя —

и замертво рухнул, раскинув черноволосые руки. Он рухнул, как ствол под секирою грубой, не выпивший всласть

черноземного сока.

Мстислав прикусил размозженные губы и, шею набычив,

пошел на косогов,

пошел,

кулаками по воздуху тыча, один —

против армии в несколько тысяч. с двумя кулаками --

на полчиша стали.

Смутились косоги

и побежали...

Пирует Мстислав. Созывает на праздник окрестных крестьян

и пирует —

до храпа!

Мудрец Ярослав и молва не напрасно прозвали Мстислава маститого Храбрым.

1111 ГОД

Между реками, яругами, лесами, переполненными лисами, лосями, сани,

сани,

сани,

сани,

сани,

сани...

Наступают неустанно россияне.

Под порошей ини, коренья нетелесны, рассекают завихренья нити лезвий.

На дружинниках меха — баранья роба. На санях щиты поставлены на ребра. Шустро плещутся плащи по перелескам. Даже блестки снеговые

в переплеске,

от полозьев -

только полосы на насте...

Как бояре взъерепенились на князл:

— Ты, Владимир Мономах,
мужик не промах:
ты казну и барахло оставил дома:
ты заставил нас покинуть
жен, халупы,
обрядить свою холопину
в тулупы.
Где ж добыча, князь? Морозы-то —

не охпуть!

Все в сугробах половецких передохнем!

Разъярился Мономах:
— Чего разнылись?
Разве сапи не резвы

и не резные?

Разве сабли

не заточены на шеях?

Так чего же вы разнюнились,

кощеи?

Не озябли вы, бояре, не устали, вам давненько по ноздрям не попадало! Тяжела у Мономаха шапка-ярость! Покрутив заледенелыми носами, приумолкли пристыженные бояре... Между реками, яругами, лесами снова —

сани,

сани,

сани,

сани,

сани.

Наступают неустанно россияне.



МАЛЬЧИК БОЯН ИЗ ЗАГОРЬЯ

Буран терзал обочины, ласкал бурьян обманчиво. Шли по полю оброчные и увидали мальчика. И увидали мальчика по росту — меньше валенка. Ни матушки, ни мачехи не помнил мальчик маленький. Не помнил мальчик маленький ни батюшки, ни отчима. На нем — доха в подпалинах овчиной оторочена, шапчонка одноухая, вихры клочками мерзлыми. Крестьяне убаюкали мальчишку низкорослого. В печи до самой полночи рычало пламя пылкое. Мальчишка встал тихонечко и сел в куток с сопилкою. И заиграл о Загорье, о загорелых ратниках, о тропах, что зигзагами уводят в горы раненых. Сны у оброчных прочные, сопят во все подусники...

Проспали ночь оброчные и не слыхали музыки.

нкоа

Стихи да кулак булатный — все достоянье Бояна. Есть латы. Но эти латы отнюдь не достоянье.

Под латами-то рубаха в прорехах, в зубцах-заплатах. Всучил Ярослав-рубака за песни Бояну латы.

Не князь — перекатной голью слоняться бы вечно певчему. А нынче идет что гоголь, посвечивая наплечниками.

Увидит кабак нараспашку, клокочущий ковш осушит, такое понарасскажет — от хохота пухнут уши!

И выпьет на полполушки, а набузит на тыщу. Отыщет боярина-клушу и под бока натычет.

Кулак у Бояна отборный. Под забором, на бревнах тухлых боярина долго и больно колотит Боян по уху.

Что удар — то майский подарок, что удар — громыхают кости.

И кличет боярина Ставра Воян «поросенком бесшерстным»,

боярин

У боярина Ставра хоромы. Закрома у Ставра огромны. Проживает боярин в палате. А носит обноски-лапти.

И сам-то боярин — лапоть, и лоб у него — не очень. И любит боярин лапой в пушистой ноздре ворочать.

Добро, был бы хрыч старый, а то — двадцатитрехлетний. Вершина деяний Ставра — валяться в пшеничной клети.

Прихватит персидский коврик, заляжет с утра в малинник... Напрасно Ставра торговле обучает жена Марина.

Боярин лепечет — умора! — называет полушку аршином.

И хлещет его по морде сковородой Марина.

МАРИНА

Не отменна Марина станом. Невысока, курноса явно. Но, конечно, не кринкой сметаны обаяла Марина Бояна.

У Марины очи неистовы, голубее бабьего лета. А походка —

увидишь издали и пойдешь далеко следом.

Обожает Марина вина.
Пьет с Бояном и спит в чернике.
Только не побежит Марина
за Болпом в родной Чернигов.

Что возьмешь с гусляра Бояна, продувного, как сито, разве будешь от песни пьяной?

или сытой?

Песня ценится много ниже, чем на властном заду прыщик.

Никогда не уйдет Марина от боярских бочонков и пищи.



последние несни бояна

Я всадник. Я воин. Я в поле одип. Последний дипастии вольной орды. Я всадник. Я воин. Встречаю восход с повернутым к солнцу веселым виском.

Я всадник. Я воин во все времена. На левом ремне моем фляга вина. На левом плече моем дремлет сова, и древнее стремя звенит.

Но я не военный потомок славян. Я всадник весенней земли,

Возвращайся, воин, в дом, в дом дрём, без руля и без колес дом грёз, истреблен и гнет и трон — дом дрём,

всё взаправду, всё всерьез, дом грёз.
Возвращайся, воин, к винам, прекращай обиды битв, обращайся, воин, к вилам, обещай баклуши бить, пригляни себе сутану семейную...

Прокляни меня, солдат, за советы.

И грустить не надо. Даже в самый крайний, даже на канатах играйте, играйте!

Алёнушка, трудно? Иванушка, украли? Эх, мильонострунно играйте, играйте!

Или наши игры оградим оградой? Или — или — или

или — или! Играйте, играйте! Расторгуйте храмы, алтари разграбьте, на хоругвях храбро играйте, играйте!

На парных перинах предадимся росту!

Так на пепелищах люди плачут, поэты — юродствуют.

Был крыжовник больше арбуза, на мраморной березе вороны сидели, вороны сидели, опи целовались, один ворон черный, другой ворон белый, один ворон каркал, другой кукарекал... Это в сказке. В жизни такого не бывает.

В жизни всё иначе, всё обыкновенно: был помидор, маленький, как клюква, на двух муравьях две вороны ехали, две вороны ехали, в клювах по сабле, одна ворона белая, другая не малиновая, а по небу бегала ворона в туфельках, из мраморных жилок плела паутину... Это в жизни. В сказке такого не бывает.

+

Догорай, моя лучина, догорай! Всё, что было, всё, что сплыло, догоняй.

Да цыганки, да кабак, да балаган, только тройки по кисельным берегам.

Только тройки — суета моя, судьба, а на тройках по три ворона сидят.

Кто он, этот караван и улюлюк? Эти головы оторваны, старик. А в отверстиях, где каркал этот клюв, по фонарику зеленому стоит.

По фонарику — зеленая тоска! Расскажи мне, диво-девица, рассказ, как в синицу превратился таракан, улетел па двух драконах за моря... Да гуляй, моя последняя тоска, как и вся большая родина моя!

Где же наши кони, кони вороные? Где же наши копья, копья воронёные? Отстарались кони. Отстрелялись копья.

Незадаром в роще, бедной и беззвучной, ходит странный ворон ходуном по сучьям, ходит и вздыхает,

па лице громадном, на лице пернатом скорбная гримаса.

Ничего не надо:

ни чужих отечеств, ни коней, ни копий...

Осенью огромной с нами наше счастье: белые одежды, бедный бор

да ворон,

ворон воронёный.

И вот опять, и вот — вниманье! — и вот метели, стражи стужи. Я понимаю, понимаю мятущиеся ваши души.

Когда хлеба́ ревут «Мы в теле!», я так спокоен, так неспешен: мои костлявые метели придут надежно, неизбежно, — и кто бы как бы ни хотели, — над всей над повседневной сушей!

Здоро́во, белые метели, мои соратники по стуже!

+

Завидуешь, соратник, моему придуманному дому? Да, велик он, храм химерный моему уму, хранилище иллюзий — или книг.

Взойди в мой дом, и ты увидишь, как посмешище — любой людской уют, там птицы (поднебесная тоска!) слова полузабытые поют.

Мой дом, увы, — богат и, правда, прост: богат, как одуванчик, прост, как смерть. Но вместо девы дивной, райских роз на ложе брачном шестикрылый зверь.

И не завидуй. Нет у нас, поверь, ни лавра, ни тернового венца. Лишь на крюке для утвари твоей мои сердца, как луковки, висят. 4

Дождь идет никуда, ниоткуда, как старательная саранча. Капли маленькие, как секунды, надо мною звучат и звучат,

не устанут и не перестапут, суждены потому что судьбой, эти капли теперь прорастают, может, деревом, может — тобой.

Воздух так водянист и рассеян. Ты, любимая,

мы — воробьи. В полутьме наших птиц и растений я любил тебя или убил?

Пусть мне всякий приют — на закланье! Поводырь, меня — не доведи! Ворон грянет ли, псы ли залают, — веселись! — восвояси! — в дожди!

Дождь идет всё сильнее, всё время, племена без ветрил, без вождя. Он рассеет печальное племя, то есть каждую каплю дождя.

Где я? Кто я? Куда я? Достигну старых солнц или новых тенет? Ты в толпе торопливых дождинок потеряешь меня или нет?

Меч мой чист. И призванье дано мне: в одиночку — с огульной ордой. Я один. Над одним надо мною дождь идет. Дождь идет.

Первая молитва Магдалине

На ясных листьях сентября росинки молока. Строения из серебра сиреневы слегка.

Ты помни обо мне, о нем, товарище чудес. Я вижу вина за окном. Я вовсе не воскрес.

Я тень меня. Увы, не тот. Не привлекай кликуш. Не объявляй обильный тост. Мария! Не ликуй.

Я тень. Я только дух себя. Я отблеск отчих лиц. Твоя наземная судьба для юношей земли.

Тебе заздравье в их сердцах. Не надо. Не молись. И что тебе в такой сентябрь сомнения мои! Твой страх постыден в день суда. Оставим судьям страх. А я? Что я?! Не сострадай, несчастная, сестра.

Их жизнь — похлебка, труд и кнут, их зрелища манят. Они двуногий свой уют распяли — не меня.

Сестра! Не плачь и не взыщи. Не сострадай, моя. Глумятся надо мной — молчи, внимательно молясь.

Но ты мои не променяй сомнения и сны. Ты сказку, сказку про меня, ты сказку сочини.

+

Наше время — веселиться, размотать души клубок.

Ты — царица Василиса, я — твой первый теремок.

В этом доме пели мало и не плакали еще.

Понемножку пировали, целовались под плащом. И порхали очень просто ноготки, как лепестки.

Наше время — время тостов от безвременья тоски.

Вторая молитва Магдалине

Это птицы к подоконникам льнут. Это небо наполняет луну.

Это хижины под небом луны переполнены ночными людьми.

Невозможно различить в темноте одинаковых, как птицы, людей.

Ты целуй меня. Я издалека обнимаю!

Обвиняю свой страх. Я неверье из вина извлекал, от, любимая, неверья устал.

Нет привала. Вся судьба — перевал! Запорожье!

Нет реки Иордань! Если хочешь предавать — предавай, поторапливайся! Эра — не та!

Нынче тридцать за меня не дадут. Многовато бескорыстных иуд.

Поспешай! Петух Голгофы поет. Да святится святотатство твое...

Язычники

Обличает волк луну, как людей Божий Сын... Житие — ни тпру ни ну, то ли чернориз-цы!

Ратуют они за рай, там нектары — ложками! Если житие — сарай, проповеди ложны!

Пред амвоном гнись дугой, гуди — как положено! Если всюду пьянь да голь, проповеди ---

ложны!

Белениться? Не балуй! Плуг тебе да лошади! Если поголовный блуд, проповеди —

ложны!

Черноризцам — все азы, патоку и птаху, а язычникам — язык на полку? на плаху?

За любовь

пред паствой малться? Псалтыри

за счастье?

Верим в солнце, верим в мясо, в соль, в зерно, в зачатье, в бубны, в бани, в хоровод, в гусельные весла!

В нашей жизни горевой ой как редко звездно...

+

Белый вечер, белый вечер, колоски зарниц.

Не кузнечик, а бубенчик надо мной звенит.

Белый вечер, белый вечер, блеяние стад.

И заборы будто свечи белые стоят.

Прошумят березы скорбно, выразят печаль, Прошумят они:

— О скоро твой последний час.

Что же, скоро, я не дрогну в свой последний час.

Не приобрету в дорогу ни мечей, ни чаш.

Не заполучу надежды годовщин и книг.

Выну белые одежды и надену их.

Белый вечер, белый вечер, колоски зарниц.

И кузнечик, как бубенчик, надо мной звенит.

О чем плачет филин?

О том, что нет неба, что в темноте только двенадцать звезд, что ли.

Двенадцать звезд ходят, игру играют, что месяц мышь съела, склевал его ворон.

Унес ворон время за семь царств счастья, а в пустоте плачет один, как есть, филин. О чем плачет филин?

Что мир мал плачу, что на земле — мыши, все звезды лишь — цепи...

Когда погас месяц, и таяло солнце, и воздух воздушен был, как одуванчик,

когда во все небо скакал конь красный и двадцать две птицы дневных смеялись...

Что так плакал филин, что весь плач птичий — бессилье бессонниц, ни больше, ни меньше.

+

Легенду, которую мне рассказали, веками рассказывают русалки. Хвостами-кострами русалки мерцают, их серьги позванивают бубенцами.

Наследницы слез и последних лишений вставали над озером в белых одеждах, наследницы слез и последних лишений, всё женщины чаще,

а девушки реже.

Хвостами-кострами русалки мерцали, их серьги позванивали бубенцами. Их озеро требовало пополненья: пришло и последнее поколенье.

Различия— те же, причины — как прежде, лишь девушки чаще,

а женщины — реже.

Немые русалки плывут по каналам и рыбье бессмертье свое проклинают...

Обращение

Подари мне еще десять лет, десять лет,

да в степи,

да в седле.

Подари мне еще десять книг, да перо,

да кнутом

да стегни.

Подари мне еще десять шей, десять шей да десять ножей.

Срежешь первую шею — живой, срежешь пятую шею — живой, лишь умоюсь водой дождевой. А десятую срежешь —

мертв.

Не дари оживляющих влаг или скоропалительных солнц, лишь родник,

да сентябрь,

да кулак

неизменного солнца. И всё.

1962



склоняя оплывшую шею, подносит сивуху,

арбуз

и куриный пунок.

А гости,

а гости,

а гости печатают песню, отменную песню, что слово — то конника топ. Хозяин доволен: лоснятся колечками пейсы. Хозяин смущен: плачет паче младенца Поток:

— В песчаном Чернигове рынок что сточная яма, в помоях и в рытвинах — лоб расколоть нипочем. На рынке

под вечер,

в сочельник,

казнили Бояна, Бояна казнили, назначив меня палачом.

Сбегались на рынок скуластые тощие пряхи, сопливых потомков таща на костистых плечах. Они воздевали сонливые очи на плаху и, плача в платочки, костили меня, палача.

А люди,

а люди,

а люди

болтали о рае, что рай не Бояну, Бояну — отъявленный ад. Глазели на плаху, колючие семечки жрали, судачили: влево

иль вправо падет голова.

Потом разбредались, мурлыча Бояновы строки, лелеять иконы в своих утепленных углах. Марина, которой Бояном написано столько, в ту ночь, как обычно, с боярином Ставром легла.

Я выкрал у стражи Бояновы гусли и перстень, и — к черту Чернигов, лишь только забрезжила рань... Замолкните, пьянь! На Руси обезглавлена Песня. Отныне

вовеки

угомонился Боян.

Родятся гусляры, бренчащие песни-услады, но время задиристых песен вовеки зашло...

В ночь казни смутилось шестнадцать полков Ярослава. Они посмущались, но смуты не произошло.

1959



Разве мы в своей судьбе студеной не прошли тревожные азы?

Дождик-дождь, старательный садовник! Нет, но нам не миновать грозы.

Разве нам впервой река — отчизна, а сухая плоскодонка — дом? Разве нам впервой иголки-брызги собирать, а завтракать дождем?

Ты припомпи: на реке Каяле, той реке общеславянской боли, мы стрелой из ялика карали княжичей, перебежавших в Поле в непогодь Руси...

Теперь — не надо. Нет и нет как нет реки Каял. Есть — туман. В тумане — лодка паша, как и ты, плывущая, и я.

А повсюду, сбрасывая перья, птицы улетают цифрой «семь»... Есть ладопь твоя твое доверье, нами позабытое совсем.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

(по мотивам "Слова о полку Игореве")

> Братья! Настала година браться за Слово Великое!

У Бояна

стозвонные

гусли, а на гуслях

русский орнамент, гусли могут стенать, как гуси, могут

и клекотать

орлами, могут мудростью с дубом спорить, спорить скоростью с волком

могут,

радость князю —

ликуют, rope —

разом с князем горестно молкнут. У Бояна

бойкие струны!

Словно десять кречетов статных напускает Боян

на юное

лебединое стадо.

Первый кречет

кричит победно песню-здравицу в честь Мстислава, что прирезал Редедю пред полками косогов бравых. То не десять кречетов юных — десять пальцев,

от песен скорченных,

задевают струны,

а струны сами славу князьям рокочут. Или вдруг

заструятся

грустью,

журавлиною перекличкою... У Бояна стозвонные гусли пере-

лив-

ча-

тые!

Тогда Игорь поднял глаза на солнце, тогда Игорь опустил глаза на войско, тогда Игорь увидел: солнце затмилось,

а войско было во тьме и мигало металлом. Семьдесят ковчев в полотняных латах искакали без оружия, а много тысяч воинов поднимали к темноми солнии рики, а руки были голые, как свечи, потому что тяжелые, связанные из железа рукава соскальзывали к плечам. И собаки не лаяли. Они сидели в позе лягишек и закрывали глаза. Это было первого мая, через девять дней после выступления войска. Все кони во тьме были темной масти. они опускались на колени, а потом ложились на бок. Это было в среди. Это было в три часа дня. И были большие звезды около солнца и дальше.

Конь у Игоря игривый, глаз играет и горит, — ухмыльнулся Игорь криво, говорит:

— Лучше быть убитым в поле, чем захваченным в полон, не пеняйте, кто не понял:

посмотрим

синий Дон! Влагу пресную (о битва!) кровью посолим, тьма-знамение обиду нам не посулит. Если двинем встречу грому скорым скопом — либо головы преломим, либо копья!

О Боян, соловей стародавний, песнопевец земли беспутной, сколько струны твои страдали на безлюдье,

в беде

и в бунте! Наши песни — твое веленье! выше звездной Тропы Трояна!

Так пропел бы ты, внук Велеса, увидав своих россиян:

— За Сулой игогочут кони, надрываются трубы в Путивле, развеваются, будто корни, стяги!

Будет побит противник!

Или так:

— Не ураганы соколов пригнали к Дону, скачет войско днем угарным пить из Дона из студеного.

Скоро бой!
Победа скоро!
Под шатровыми жердями
у Оскола,
у Оскола
Игорь брата поджидает.

Что-то третье утро выдаст? Ждать еще придется сколько?

Скачет Всеволод — буй-витязь утром третьедня к Осколу.

Разумом он — волхв отменный, твердостью — терновый куст.

Вдоль донской степи степенной горлопанит песню Курск:

— Мы, куряне,

с пеленок воины,

нами все

путь-дороги

зна́емы, наши тулы

настежь отворены,

и всегда настороже знамена. Если пьем —

до отруты

бе́лепной,

если жрем --

в животах

оскомина. Мы под вопли труб всколыбелены, с наконечников копий

вскормлены.

Наши сабли

в брусках

изо́стрены, луки,

что желваки, напря́жены, сами скачем степями жесткими день и ночь за врагами княжьими.

И поехали полки по полю.
Тогда была гроза,
было много молний,
птицы опускали мокрые и красные крылья.
Всадники еле-еле ехали в красных кольчугах.
Чернь, или черные люди, заслоняли щитами головы,
и дождь разбивался о щиты
и сбегал со щитов уже медленнее.
А единственный не воин,
старичок с большими ушами,

без меча, но с бубном, бил в бубен указательным пальцем. Он бил в бубен тихо и тихо пел песню. Эту песню все слышали:

«Ой пурга, пурга, ой белы снега!

В чистом поле полк волю воевал. В чистом поле волк где-то завывал.

Ой пурга, пурга, ой белы снега!

В чистом поле волк умер от пурги, в чистом поле полк до бойца погиб...»

Растрепали перья птицы, клык оскалил зверь, Див вопит с макушки тиса:
— Россиянам смерть!

Быть обиде! Россиянам в ранах истекать. Неспроста в Тмуторокани плачет Истукан!

Быть беде!

Беда шагает с Игорем из мглы. На трупье зовут шакалов клекотом орлы.

Горе! Запах трупов прелый всюду ощутим. Лисы-исы остервенело лают на щиты.

В пятницу на Сюурлий потоптал Игорь полки половецкие.

В грязь — ковры и аксамиты! Шелком — топь мостить! Половчанок неумытых — в теплые кусты!

А отличия почета — Игорю в шатер: древко, стяг, хоругвь и челку — жечь густой костер!

Отступают половчане к хижинам, к харчам. И телеги их ночами жалобно кричат.

— О Русское племя! Ты уже за Изюмским бугром!

Налегла на Сюурлий мгла —

лиловый чад, замигала, заюлила юркая заря над разливом Сюурлий. Соловьи закрыли клювы, но, в предвестье орд, вытаращив очи-клюквы,

воронье ревет

над разливом Сюурлий.

Прислонив щиты к телегам — там казна и раб, — дремлют правнуки Олега. Богатырский храп над разливом Сюурлий.

Хан Кончак полки скликает и крадется Гза...

Замолчала под клинками ратнал гроза над разливом Сюурлий.

Тогда половчане варили рис и просо в молоке, и ели сыр, и пили кобылье молоко, они подсовывали под седла лошадей куски конины, они гнали лошадей, лошади потели, и мясо нагревалось, и кочевники ели теплое мясо, и что было на следующий день...

На другой день ранней ранью:

C Азовского моря бредут черно-бурые тучи. Они прибредут,

они разразятся грозой. И гром застучит, как под смерчем громоздкие сучья, и молнии накрест перечеркнут горизонт. И дождь не водичкой пернатыми стрелами хлынет, и будет не бой --будет бойня корежить дубы, и сабли преломятся о половецкую глину, и копья потупятся о половецкие лбы. И буйные ветры. великие внуки Стрибога, накрутят спиралями пыль на копыта волов...

С Азовского моря ползет половецкая погань, мотая шарами нечесаных черных голов. Горланят быки, запрокинув двурогие морды, бесштанные половчата в скрипучих телегах юлят...

Шары волосатых голов от Кальмиуса до моря гортанными гиками загородили поля.

— О Русское племя! Ты уже за Изюмским бугром! То было в те бои и рати, когда разладица росла, когда в черниговской палате скончался мудрый Ярослав,

когда Олег, призвав Бориса в болотистый Тмуторокань, по всей Руси с Борисом рыскал, да так, что уши затыкал, заслышав бряк стремян Олега, неколебимый Мономах и за дружипниками бегал, ломясь в кабацкие дома, и двигал косяки дружин не щит на щит —

Так рухнул у ручья Канин

Борис, прокняживший неделю.

Вода в Кагальнике горька, но пуще прежнего прогоркла, как подломился Тугоркан под саблей зятя Святополка.

Междоусобья и крамолы век человечий коротали. На пашнях злаки перемерли, не слышно покриков ратаев.

Одни воро́ны, брюха ради, на падаль

падали повально.

То было в те бои и рати, но равной

рати

не бывало.

Что мне шумит, что мне звенит далеко-далече рано перед зорями?

С рассвета до полночи, с полночи до рассвета втыкаются стрелы в разинутые зрачки и копья прокалывают кольчужные сетки насквозь,

до лопаток.

Кобылы,

храпя у реки, колотят копытом еще не остывшие ребра, и ребра потрескивают. Пробираясь по ребрам вперед, бойцы-половчане, чумея от бычьего рева, сдирают с трупья золотое добро и тряпье. Беснуется Всеволод. Разве зарубленный ляжет. Забыты Чернигов, отеческий ласковый стол,

где дымом исходят котлы поросячьих ляжек, где Глебовна блещет грудастою красотой.

На третьем рассвете ковуи не вынесли боя, бегут, озираясь, роняя тупые мечи, кровь затвердевает, кровь крошится под ногою, и красными щепками в спины ковуям стучит! Напрасно князь Игорь ковуям грозит: «Берегитесь!» — на иноходце бичом вымещая эло, — ковуи бегут! А у князя рука перебита, рука омертвела, висит на плече, как весло.

И тропинки нет обратно: стяги пали, разлучились два брата на реке Каяле.

* * *

на Макатихе кручинной, где на месте свалки ковыряют мертвечину голодранцы-галки.

Галки прыгают, пугаясь: там скула,

там ус торчит.

Сватов напоив поганых, полегли русичи, пир докончили со славой за краину Русскую...

Преклонили дубравы разветвленья хрусткие.

Закачались ковыли жалостливо по полю.

Убирают ковали наковальни в подполье.

Не ковать им, ковалям, ни мечей, ни копий.

Им по избам ковылять
с мелочной поковкой.

Мерзлотой засквозило с гор.
Этот год будет
Год — Скорбь, этот год будет
Год Зла.
Полушубки сгниют на плечах,

негасимая зола заледенеет в печах. Этот год будет Год — Мор. Лед сукровицей

запятнается.

В этот год приплетется домой уцелевшее войско:

пятнадцать замордованных смердов-кощеев. И расскажут пятнадцать о битве, раздвигая красные щели, щели красные ртов...

Обида приподнимется хмурой Девой в предрассветном пресном сиянье. И расплачется Дева:

— Где вы, русоусые россияне? Где вы, мужественные хоробры? Почему не вернулись утром?

Завалил бурелом тропы, и дороги бурьян запутал.

Не ценили князья правду, чуть нелад — вынимали нож, говорил брат брату:

— Вот мое, а вот мое ж!

И делишки кромешно крошечные величали Делом Великим...

И растаптывал враг лошадью Русь,

лихую

да лыковую.

О, далече зашел сокол, птиц гоня к морю! А Игорева храброго полка не воскресить!

Непустеющая половецкая степь! От Дуная до Волги углом под уклон.

Сколько разноплеменных костей в половецкой степи полегло.

Поле глохло от сеч. Пёк песок— не ступить. Преклоняли уродцы стволы. Полоумные дрофы дразнили в степи. Незнакомые злаки цвели.

Да шумливо шныряли по хрупким бобам шайки сусликов-свистунов. Да над чабером чавкал сонливый байбак, вымирающий гений степной.

В Киеве на горах...

Святослав смутный сон видел в Киеве на горах.

— Всю ночь с вечера, сказал он. --у моей серебряной кровати стояло семь воронов, как семь апостолов Византии окаянные очи. пернатые лица. — Всю ночь с вечера, сказал он. они не сказали ни единого слова. ни вороньего, ни человечьего. Они подавали вино, у них были не птичьи, а девичьи пальцы. а на мизинцах мигали драгоценные перстни. и нежили они меня. а вино было цвета отруты. А потом у них стали восточные лица, и семь лиц улыбались четырнадиатью восточными глазами. Они держали в желтых руках четырнадцать белых свечей. но не воск замерзал на свечах, а красные капли крови.

иглами большими, как копья. — Всю ночь с вечера шили,—

И еще они шили мне саван

сказал он.

И сказали бояре князю:

— Уже, княже, горе ум полонило.
Византийских апостолов нет и в помине.
Не боимся востока.
Там бегает племя —
маленькие люди на маленьких лошадках,

смешное племя! Смешные сны.

И тогда сказал Святослав:
— О мои сыны, Игорь и Всеволод!

В Тмуторокани сладкие сады, лоснится масло на окороках, но только

не ко времени зудить мечом жиреющий Тмуторокань. Ко времени

разладицу кончать, совместно браться за топор и плеть. Напорист Гза. Несокрушим Кончак. Нам в одиночку их не одолеть. Ты, Игорь, вспыльчивая голова! Ты, Всеволод! Бог боя и стола! Вы думали, что слава — каравай, который получают пополам? Вы, братья, позавидовали мне, я потоптал на вежах погань орд. -встревожились вы! Не прошло двух дней поснешно сами сорвались в поход. Не сомневаюсь, братья, вы — храбры, сердца что груди в греческой броне, не раз вы кувыркались под обрыв, ломая позвоночники коней.

Но слава где же? Помню, Ярослав с безбожной рванью рвался на рожон, их слава по чужим степям несла с корявым засапожником-ножом. А где же ваша слава? Как назал поворотить прославлению быль? Князья! Вы не пособники, князья! Вы — оборотни киевской судьбы! Разграблен Римов: рухнули вовнутрь сооруженья рыхлых городниц. Враги хоругви золотые мнут, на алтарях насилуют девиц.

Великий князь Всеволод Суздальский!

Ты над своими чарками дрожишь, а мог бы, бросив чарки-черепа, разбрызгать Волгу вёслами дружин и Дон

до дна

ладонью

расчерпать!

О, будь ты рядом — половцам-рабам неслобровать!

Рассевшись широко,

мы б торговали

по ногате баб,

по резани --

плюгавых мужиков!

Галицкий Осмомысл Ярослав!

Ты сторожишь старательно страну. Как псы — твои дунайские суда. Не ты

своими стрелами согнул границы Польши? Не тебе султан сулил гаремы? Галич — мой капкан на Западе.

Царюешь ты, играя. Стреляй же, господине, Кончака, — за землю Русскую, за Игоревы раны!

А ты, Роман, и ты, Мстислав!

Под шлемами латинскими богам

латинским

как вам молится в Руси? А Игорева храброго полка уже не воскресить.

Ярослав и все внуки Всеславовы!

Вам на могилах собственных мечей маячить!

Честь искать — не отыскать!

Каких сегодня

предали мужей?

Куда еще

знамена опускать?

Ты, Рюрик, и ты, Давид!

Когда устал от ужаса холоп, не ваше войско издавало рык, воюя у холопины коров, сдирая шкуру, как шматье коры с холопов голобрюхих?..

Я, седой,

всевластный, говорю, как равным равный:
— Вступайте, братья,
в стремень золотой
за землю Русскую,
за Игоревы раны!

Хомяк упрятался в нору, не выползая пить.

Неволя прянула на Русь, ей вольницей не быть.

Не быть оплеванной Хуле хорошею Хвалой.

Не течь замученной Суле хохочущей струей.

Уплыли мертвые тела в болотное окно.

Двина болотом потекла... Отныне — всё одно, деяньям и добра и зла всему один исход...

В болоте бредит Изяслав с прорубленным виском.

Под князем движется трава, большой болотный наст.

— Побила хилая Литва твою дружину, князь. Не посылать тебе крестьян за лыковой корой, волчицы ходят по костям, вылизывая кровь, —

двадцатилетний князь твердит в болоте за леском, без братьев, без добра, один, с прорубленным виском.

Копья поют на Дунае...

Над Путивлем Солнце-радость велико, а светит слабо. На валу,

ограде града, плачет лада Ярославна.

Плачет, голос поднимая, до рассвета цвета ситца:

— Полечу я по Дунаю бесприютною зегзицей. Рано, рано

на Дунае омочу рукав бобровый, князю раны вспеленаю, ототру

от крови

брови.

Над Путивлем ветер стылый носит запах сечи душной. Плачет лада:

О Ветрило,
 Отчего враждебно дуещь?
 Отчего,

о Ветр-Ветрило, добродушный и обширный, мечешь на воздушных крыльях стрелы

в русскую дружину? Мало ли тебе.

бездомный, облака пинать по югу, мало на море студеном корабли волной баюкать? Мало вырывать посевы,

дыбить мех

лесному зверю? Отчего ж мое веселье по ковыль-траве

развеял?

Над Путивлем Солнце-радость велико, а светит слабо.

На валу,

ограде града, плачет лада Ярославна, плачет лада,

стоном стонет, Солнцу слабому грозится:

— Полечу к тебе я, Солнце бесприютною зегзицей. Отчего в безводном поле, жар-лучи

кидая наземь, пропитало потной солью ты дружину мужа-князя? Отчего тугие луки ты им, Солнце,

раскачало, покоробило им ту́гой камышовые колчаны?

Над Путивлем красны тучи, будто Игоревы раны. Поднимая голос круче, плачет лада Ярославна: — О могучий Днепр Славутич! Расколол ты горы-камни, Святославовы онучи с Кобяковы сапогами ты столкнул...

О господине! Прилелей мне мужа завтра. Не хочу покрытым тиной,

а хочу

живым, глазастым.

По добру дерево листву сронило. Погасли вечером зори.

Разве

спрашивает страх? Двадцать стражников у костра. Двадцать стражников и Кончак. И у каждого колчан. Круп коняги в жару груб, двадцать стражников жрут круп,

и прихлебывают

кумыс

половчане —

палач к палачу, --

и похлопывают —

кормись! -

князя Игоря по плечу. Но у князя дрожит

нога,

князь сегодня бежит,

но как?

Разве спрашивает

страх?

Двадцать стражников у костра. Раскорячен сучок

в костре.

Что колчан,

то пучок

стрел.

Что ни стражник, то глаз

кос —

помясистей украсть кость.

Что ни рот — на одну

мысль:

поядреней хлебнуть кумыс.

Двадцать стражников. Ночь. И у каждого нож. Половчанин Овлур свистнул за Доном. — Киязю Игорю бежать,—

кликнул.

Неказиста река Стугна, и струя у Стугны скудна, и извилистый ил

на дне,

сухощавые утки

в плавнях.

Та Стугна затворила Днепр князю-мальчику

Ростиславу.

На Стугне

процветает

май,

жеребцы

потрясают

челками.

А по мальчику

плачет мать,

исцарапав ногтями щеки.

На заутрене бор мокр. Грай ворон черноперых

смолк.

Дятлы ползают по сучьям, стуча.

Над рябинами

ползучий

чад. Сняли свой ночной дозор соловьи. Углубился Игорь в бор, слови!

И сказал Кончаку Гза:

— Если сокол убежал

из гнезда,

не допустим соколенка домой, доконаем закаленной стрелой.

И сказал Гзе Кончак:

— Если сокол в гнезде зачах, краснощекую

сочную девицу мы положим около сокола; никуда он тогда не денется, так и будет валяться около.

И сказал Кончаку Гза:

— Ты держи начеку

глаза.

Бабу соколу

не подсовывай, половчанки к русичам слабы,

убежит половчанка

с соколом,

и не будет ни князя, ни бабы.

Лихо Солице поднебесное колет Днепр

* * *

лучами

острыми. Страны рады,

грады веселы,

Днепр с утра

хлопочет

веслами. Бусы у девиц агатовые, у девиц запевки

ладные.

Днепр с утра ладьи побалтывает, переполненные ладами. Ну-ка в хоровод!

Запаришься

под июльскими деревьями. Песню спев князьям

состарившимся,

молодым споем

со временем.

Слава Игорю со Всеволодом! Киев-городу

родимому!

И со Всеволодом

все в ладах,

и в ладах

с младым Владимиром!

Славься, Русь,

лихими плясками!

Славься злаками обширными!

Слава Ярославне ласковой!

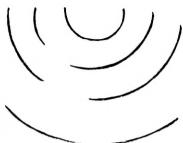
Слава

доблестным дружинникам!

Да будет!

1959





СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК

1

Сколько на рынке ос,

но и не меньше

добра.

Бродит по рынку, бос,

пьяный Иван-дурак. Левое око —

дыра,

впадины

вместо щек.

Щелкает вшей дурак: щелк,

щелк,

щелк.

Лезет в мешки,

болван, —

здорово осовел. — Слышь-ко, —

шипит Иван, —

под Киевом СО-ЛО-ВЕЙ... Крупный разбойник! Страсть! Свистнет и всё отдашь... 0xи пошупает вас... — Нишкни. заткнись, балда! — Торгаш толстобрюх, кавун! Под монетой провис карман.

— Твой Соловей свистун... ---Захохотал Иван.

2

Нал Россиею высоко свист, парусиновый, жестокий свист! По чащобам расстелился свист. опрокидывает листья в омуты. Над хороминами свист повис, и подрагивают бревнами хоромы. Рассвистался по Руси Соловей.

Разве свист ---

свистопляска

над долами? Подзолоченные маковки с церквей скатываются,

что головы.

У Владимира в девишнике страх.

Обескровил губы-вишенки страх.

Триста девок сгрудились в кружок, триста девок — белогрудых жен. Говорит Апраксия-жена, в меру умственна,

прекрасна

и жирна:

— Ой вы, бабоньки,

ой вы, неженки, для кого намываете ноженьки благовониями печенежскими, для кого начищаете ножики? Для Владимира. Как телесные прелести выгородить вам,

курносые,

нерадивые, --

300 в Белгороде, 300 в Вышгороде,

200 в Берестове

баб у Владимира. Ой вы, бабоньки бархатнокожие,

ой вы, паиньки, ой вы, барыньки, поднимайте множество ножиков на похабника

и на бабника

на Владимира.

Я

У Илейки темница темна, не увидишь даже собственных рук. В той темнице

ни шелей.

ни окна,

в потолок закручен стражей крюк.

Хоть повесся,

хоть повесь

сапог. и дивись, вообрази, что бог сей сапог,

нечто вроде Христа. Но на Муромце нема креста. Потому-то богатырь давно ни идолишу,

ни богу

не угоден, что уверовал только в бревно, на котором коротает годы. Неспроста, не за пустяк сюда усадил богатыря государь.

Говорил властелину Илья:

— Или ты води дружину,
или я. —
Третий год богатырю во сне
снится жареная всячина —
снедь.

А в темнице --

темень

и сырь и разгуливают орды крыс. Богатырь насупил темя, сир, и ошметок от коры погрыз. Проворчал,

лапоток залатав:
— Превратили Муромца в Золушку.
Отомцу я тебе, сволота,
Володимир Красное Солнышко...

4

Перепуганы бояре, тараторят, вящие:
— Будоражит смердов ярость по ярам и чащам, наши клади — о проклятье! —

грабят, а иконы

топчут,

не бывать прохладе на Руси николы. Наши головы с-с-сымерды разрубают плавно на квадраты,

будто это

овощи,

не главы.

Наши головы к скворешням вешают мальчишки. Княже,

приструни скорейше Соловья— зачинщика. Этот свист

и эти песни

надо —

под корягу. Володимир гладит перстень, молвит:

> — Эх вы, ряхи, эх вы, квакушата муторные, кобели семейные! Триста жен моих

> > за смуту

выпороть сумели...
Перевешать вас, калеки,
недостанет веток...
Всех в темницу!
Звать Илейку!
Мать вашу

разэтак!

```
Раскачался Разбойник ---
                        любо! —
на сучке:
влево —
       вправо ---
крен.
Дубина —
          обломок дуба —
у смутьяна промеж колен.
У смутьяна рваное ухо.
(О. Разбойник еще тот!)
Знает:
надо дубину
            ухнуть,
а дальше —
           сама пойлет!
Нало песню заначить,
а дальше —
           сама пойдет!
С дубиной звенящей
не пропадет.
Раскачался Разбойник —
                        ух ты! —
на сучке:
влево —
       вправо ---
крен.

Здоро́во, рваное ухо!

Здорово, Илья, старый хреп!

    Как в Киеве?
    Так же пашни
    Владимир оброком забрасывает?
```

По-прежнему крутит

шашни

с богатырями Апраксия? Небось княжна наставляла тебе

рогатое имя?
— Э, брось шебушиться, дьявол, что ссориться?
Лучше — выпьем.
Слезай, Соловей,

ты,

да я,

да

мы — двое в России пасынков...

Сивуха смачна, заядла, как поцелуй Апраксии.

ß

У Владимира хворость —

колики.

Князь рычит под медвежьей

полостью:

— Закричи, Соловей,

в полный крик,

засвисти, Соловей,

в полный свист. --

Закричал Соловей

вполкрика,

засвистел вполсвиста.

но весело.

И в подоле у Апраксии мокренько, и в штанах у Владимира **увесисто.**

А у тысяцких

и прочей боярщины ясносолнечные рыла стали пасмурны.

— Удави, Илейко,

буянщика! завизжала жалобно Апраксия. Но сказал Илья:

— Я не я.

Посмотреть на шиш не угодно? — Хохотнул Соловей. хохотнул Илья. И уехали рядом из города.

7

Сколько на рынке добра, но и не меньше

oc!

Бродит по рынку

дурак,

пьян,

голопуп

и бос.

Воз подвернется воз двинет плечом холоп... Хлоп — и лопнула ось, хлоп — и торговца в лоб! О лоб, в шишаках-рогах,

в шишаках-рогах, в патоке,

> в сале весь... — Слышь-ко, —

> > шипит торгаш, --

под Киевом — СО-ЛО-ВЕЙ.

Выдающийся витязь! Страсть! Его замечательный свист много-премного раз, Господи, благослови! Да жить ему сотню лун, не ведая слез и ран.

— Ведь Соловей —

свистун, -

захохотал Иван.

8

Злющий за бором свист, рушит заборы свист, слушай разбойный свист, ты,

опустивший ус, вечный Иван-дурак, приподнимай,

pycc,

кол

и кулак

для драк.

Слышишь:

свист

от подземных искр

до заоблачных верхов...

Как бы ни было тошно, а свист над Россией

испокон

веков.

ВЕСНУШКА-ДУРНУШКА

1

Друзья!
Наступила эпоха для сказки.
Как было на свете-планете
три царства:
одно — золотое,
другое — другое,
а третье,
а третье,

а третье, конечно же, — третье. Друзья! Наступила для были година. Был царь. У царя три цареныша-сына; один — гениальный, другой — даровитый, а третий,

а третий — балбес-несмышленыш. Друзья! Так прославим прекрасную древность. Как было в трех царствах три девы-царевны: одна — василиса, другая — слабее, а третья,

а третья веснушка-дурнушка. Итак, перейдем непосредственно к песне.

2

Был царь на Руси, головастый, как перстень. Был трон у царя, повседневный, как дыба, из бивней полсотни слонов Хиндустана. Царь правил без взлетов, но также без рытвин, у трона держал ополчение рынд. Взбунтуется челядь — и рынды секиры снимают с плечей и на челядь шагают. Поведал царю оборванец-калика,

что есть на планете
три царства великих:
одно — золотое,
другое — из меди,
а третье —
совсем из серебряных слитков.
Как царь облачался в парчовое платно,
вещал сыновьям
в Грановитой палате:
— Добудьте царевен,
попользуйте левок,

3

и, значит, казну по заслугам поделим.

Степенная степь развалилась за Доном. Там шлялось премного народов бездомных. Ту степь бороздили на хриплых кобылах носатые,

жилистые берендеи.
Там сабли-травины колени кололи.
И был посреди травостоя колодец:
аукнешь в колодец,
«ау!» из колодца
вздымается долгим,
бездонным ауком.
Сидит на колодце, конечно, Горыныч.
Вокруг
хорошо окровавлена глина.
Змей выкрал царевен,

упрятал в колодец оирон и никчемной рукой обнимает. Цареныш с лицом колдуна и калики принес, гениальный, Горынычу книги, большие. с тисненьем и с текстом: — Отдай, Змей-Горыныч, красивых царевен! — Цареныш с лицом без кровинки и смеха принес музыкальные инструменты, большой барабан, многострунные гусли и что-то без струн — «у бабуси два гуся»: — Отдай, Змей-Горыныч, красивых царевеп! --О мололиы! Маленькие чародеи! Горынычу — тьфу! — на дары человечьи. Вы даром пошли, черепа поломали да крови прибавили в глупую глипу.

4

Холоден колодец. Ни маков, ни солнца. Колотится зуб у царевен в колодце. Прекрасная ревом ревет неусыпно, вторая от всхлипов бессильных осипла. И только дурнушка рукой конопатой всё крутит и крутит умелую прялку. Покрутит полночи глядишь, спозаранку готова холщовая самобранка. Царевны прожорливы, злы и зобаты. они отбирают у девушки скатерть: грибы и сметану, вино и утяту так лопают так. что вздуваются щеки. Насытившись, молвят:

— У, рыжая рожа! Стряхни,

дурошлёпка, со скатерти крошки. — И Змея зовут, и лобзают любезно урода в гнилые шербатые зубы. И молвят дурнушке:

— Эх ты, дурачина! Чего сторонишься? Хоть Змей, да мужчина.—

Согнулась дурнушка и брякает прялкой, бормочет о боре, о солнышке ярком, о клевере мягком, — придет несмышленыш, и жизнь заблестит родниками и маком.

Размлелся Горыныч, ворочает шеей, в истоме шестнадцать голов наклоняя. Что ни голова, то страшней и страшнее, что пасть — то клыкастей, что губы — слюнявей.

5

И рухнул Горыныч под саблей-бедою. Шестнадцать голов, что шестнадцать бидонов, скатились и, как говорят очевидцы, катились два месяца в сторону моря. Катились по травам-муравам зеленым. Вот как расхрабрился балбес-несмышленыш! Балбес отпихнул от колодца Горыну, прилег на гадючью горючую глипу и длинной веревкою, длинной-предлинной, он вытащил двух наилучших царевен. И стали царевны от радости ахать, и пить родники, и кататься по макам, и вдаль побежали, подальше,

подальше от Змея, гниющего возле колодца. Одно не домыслил балбес-несмышленыш — борец за царевен с Горыной-неправдой: его воспитали в духах благовонных, а умер герой — от змеиного смрада. Он умер. Дурнушка осталась в колодце. Осталась одна в затемненном колодце.

6

Согнулась дурнушка и брякает прялкой. Ей вечно умелою прялкою брякать. Под прялкой нить с нитью сплетаются плотно, растут самобранки, ковры-самолеты...

Ведь знает, что отберут самобранки, ведь знает не полетит в самолетах, ведь знает уже не придет несмышленыш, а всё же прядет простофиля-дурнушка, прядет, потому что не прясть не умеет.

СКАЗАНИЕ О ГРАДЕ КИТЕЖЕ

И я вернусь в тот город Китеж, туда, где вырос.
Нырну в тот омут, где ворота вращает стража.
И возвращение мое расценит стража как вражью вылазку,

возьмет

на подозренье.

И я приду к своей жене, в хоромы храма.

- Где скот? спрошу я.
 - Сожрала стража,
 на обувь шкуры.
- Где сын? спроту я.
 - Убила стража, четвертовала.
- Где дочь? спрошу я.
 - Три смены стражи, сто сорок стражей твою насиловали дочь поочередно.
- А ты? спрошу я жену. А челядь?.. А побратимы?..

— Молчала челядь, — жена ответит, — а побратимы вступили в стражу, во избежанье подозрений, я вышла замуж за самодержца, — жена ответит.

Так я вернусь в тот город Китеж, туда, где правил, где заправляла делами челядь и побратимы. И не могли они, монголы, сдолать наш город, где каждый первый — герой, где каждый

второй — бессмертен.

Я обратился: — Побратимы, давай по правде: сдадим поборникам свободу или потонем? — И мы зажарили живьем быков сто тысяч! Еще визжащих кабанов сто сотен тысяч! Последний скот последовал таким исчальем, что солнце ползало по небу двумя клопами! Мы затонули в полночь. Полностью. До нитки. Остались только кляксы клюквы да песни смердов,

да песни смердов про бессмертный Град Героев.

Вот я вернусь в тот город Китеж, в тот Град Героев. Как видоизменилась челяль моей державы! Ни огонька на дне болота. Лни побледнели. Не ржут кобылы. Не режут злаки. Не жарят жир. Носы, торчащие, как сучья, хрящи прогнули и окончательно скурносились по-рыбьи, луноподобные усы окостенели. как будто человечья челюсть, но жабыи жабры: так видоизменилась челядь моей державы.

Но я вернусь в тот город Китеж, туда, где верность в то время почиталась вровень с богами хлеба. Никто не ждет меня в том граде. Кто ждал — тот предал. И я возьму с собой двенадцать головок лука, чтоб с головой моей тринадцать головок было.

Ведь лук — последнее растенье живой природы и в эту эру исторгающее слезы.

И обращусь я к самодержцу:
— Ты в самом деле
сам держишься?

И сам всё держишь? — Всё держит стража. И сам немножечко держусь. Народ, навроде, менл поддерживает сам...

как скажет стража.

И я на площадь положу—
пускай поплачут—
мой лук,
наивные останки живой природы.

В краю, где столько веков выковывали бодрость, где только видоизменялись, где за слезинку снимали голову, как лапоть, где за слезинку срезали голову, как прыщик, — рыдала стража! Народ производил рыданья поголовно. Сам самодержец, вождь серьезный, звезда на зобе,

заместо слизи кусая слезы, предался злобе.

Но не забыли меня казнить и не забыли зарыть двенадцать головок лука в ближайший омут.

Когда-нибудь, потом, гораздо позднее, после взойдет над городом двенадцать головок лука и голова моя взойдет предупрежденьем: я не последний из казненных, не последний.

Но говорят, что город Китеж никто не видел. Что ж, предположим: никто не видел. Предположим...

1960,1962.



а вожди завязывают вожжи. Жаворонок, эх ты, птаха жаворонок! Глупый, не звони ты,

надорвешься.

2

А коршун слепо над полем плавал. Владимир слева. Димитрий справа.

> Конница копытами копает целину. Пылюка над кибитками подобна колуну.

А коршун сдал книзу руль. Слева Орда, справа Русь.

Рушатся ордынцы под шитами-караваями, раненые головы руками закрывая.
И коршун понят:

И коршун понял:

бой потух.

И рычал над полем красный Тур. Pora — что крылья ласточки. Pычал он, Тур насупленный, над кровяными кляксами и над костьми зазубренными.

И поскакали списки правд и врак до самых, до Каспийских Железных Врат, о том, что Русь обратно на взлете грив.
О! Горе Цареграду!
Беснуйся, Рим!
Обратно возродится русская крамола.

И трусят ордынцы к Лукоморью. Не бывать вину у них во рту. Больше не вернуться им в Орду.

Шелк, и узоро́чья, и атлас в русских позолоченных котлах, блюда, кольца, золото, жемчуга.

О, ордынцам солоно! Женщин гам. Голосят татарки — нет ребят. Трубы янтарные не трубят.

3

На реке Непрядве прядали ушами кони. Ело брагу войско из ушатов.

На реке Непрядве, черной, как неправда, собирались братья, но не для парада. Говорил Владимир Лмитрию Донскому:

— Наша слава дымна, а убитых сколько! — Отвечал Димитрий:

— Поклонимся князям.
Слава не дымится.
Княжья слава — красна! —
Потрясал Владимир
кулачищем медным:

— Наша слава дымна, поклонимся смердам. — Над Москвой-рекою питиё, веселье, купола рокочут, серебрятся серьги.

Княжичи, как смерклось, по луне стреляли. Смерд остался смердом, с кашей, с костылями.

4

Бом-бом колокольный. Маки — кулаки. Над полем Куликовым плачут кулики.

Ржавеют у калиток лезвия косцов.

Охрипшие калики плачут у крестов.

Бом-бом колокольный. Кому шелка? Харчи? Над полем Куликовым грабители-грачи.

По клеверам по белым раненые, бред. Если бы победы! Не было побел.

Если бы за Доном выигрышный бой, Только —

вдовы,

вловы.

сироты и боль. Если бы не враки! В рваных тетивах ходит по оврагам с ножами татарва...

> Над полем Куликовым стебли трав — столбом. Бом-бом колокольный,

> > бом,

, бом, бом...

СОДЕРЖАНИЕ

A. Aux	a u	е в	. П	09	T u	u	сто	pi	ІЯ	•	•			5
За Изю	мск	им	бу г	гр	ом									11
У полог	вець	ких	ве	ж										12
Пир Вл														13
Рогнеда														14
Калики														16
Карачај														17
Скомор														18
Калика														20
Застоль														21
Бой Мс														22
1111 го														24
Мальчи	кБ	нко		3	Заг	or	Р.							27
Боян														28
Боярин														29
Марина														30
Последн	ие	пес	ни	I	ноб	на								31
R»	вса,	дни	к.	Я	вои	н.	Я	В	по.	ле	ОД	ин.	»	31
«Во														31
«И														32
«Бъ	 ІЛ К	рых	кол	вн	ик	.))					.`			33
«До														34

«Где же наши кони»		35
«И вот опять, и вот впиманье!» .		35
«Завидуешь, соратник, моему»		36
«Дождь идет никуда, пиоткуда»		37
Первая молитва Магдалине		38
«Наше время — веселиться»		39
Вторая молитва Магдалине		40
Язычники		41
«Белый вечер, белый вечер»		42
«О чем плачет филин?»		43
«Легенду, которую мне рассказали»		44
Обращение		45
Смерть Бояна	•	47
«Вот и рядом»		51
Слово о полку Игореве (по мотивам «Сл	10-	
ва о полку Игореве»)		53
bu o nomy mopozon,	•	00
Соловей-Разбойник		83
Веснушка-дурнушка		93
Сказацие о граде Китеже		100
I		105
Коршуны		100
1. «И севрюжины скрежещут жаб _і	pa-	405
ми»	•	105
2. «А коршун слепо над полем п.		
вал»		106
3. «На реке Непрядве»		107
4 "For for reperentatii "		100

Виктор Александрович Соспора

ВСАДНИКИ

Редактор Н. А. Чечулина Художник-редактор О. И. Маслаков Технический редактор Т. И. Гладышева Корректор А. В. Берендюкова

Слано в набор 17/XII 1968 г. Подписано к печати 14/IV 1969 г. Формат бумаги 70×108¹/₃². Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 4,9 Уч.-изд. л. 4,46. Тираж 25 000 экз. М-34316. Заказ № 1736/л

> Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59 Типография имени Володарского Лениздата, Фонтанка, 57 Цепа 46 коп.

46 kon.

